ИССЛЕДОВАНИЕ №3 ИЗ КНИГИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВА «АНАЛИЗ ВСЕХ СТИХОТВОРЕНИЙ Ю.С. ЯЛАВИНА. ТОМ 6: ТВОРЧЕСТВО 2020-х ГОДОВ»

Однажды мне приснился город, населённый моими любимыми песнями…
(Ю. Ялавин «Одностишие» («Однажды мне приснился город…»), 2025)

Хронотоп тишины. Текстовая механика невысказанного в шедеврах мировой литературы: от древности до XXI века

I. Введение. Архитектура отсутствия

Традиционное литературоведение веками совершало фундаментальную гносеологическую ошибку, уподобляясь картографу, который отмечает лишь материки, игнорируя разделяющий их океан. Текст воспринимался исключительно как конгломерат проявленного: сумма фонем, синтаксических конструкций и явных семантических единиц. Однако подлинная природа словесного искусства дуалистична. Великая книга — не монолитный гранитный монумент, а, скорее, готический собор, где эстетическое величие определяется не столько весом камня, сколько объёмом заключенного внутри него воздуха.

Пространство между словами, пауза, графический пробел, внезапный обрыв строки — не технические пустоты, а смыслообразующие центры высшего порядка. В квантовой физике существует понятие физического вакуума, который, будучи формально пустым, обладает колоссальной скрытой энергией и рождает виртуальные частицы. Подобным образом функционирует и художественная ткань: наиболее мощный эмоциональный взрыв, катарсис, происходит именно в зонах абсолютной тишины, где вербальные маркеры уступают место чистому, немодифицированному смыслу.

Юрий Лотман, развивая концепцию «минус-приёма», справедливо указывал на то, что отсутствие знака в значимой позиции является таким же полноценным носителем информации, как и его присутствие. Модернистская и постмодернистская эпохи обострили данное эстетическое свойство, превратив недосказанность из стилистического украшения в ключевой методологический регистр. Классическая филология, вооруженная позитивистским инструментарием, пасует перед необходимостью фиксации невысказанного. Возникает насущная потребность в новой герменевтической оптике, способной исследовать не вещественный след чернил, а силовое поле, возникающее между графическими символами.

Гипотеза настоящего исследования строится на революционном для академической среды допущении: главный вектор воздействия шедевра мировой литературы лежит

вне плоскости говорения. Истинный смысл произведения кристаллизуется в момент, когда автор сознательно замолкает, заставляя воображение читателя совершать автономный гравитационный скачок над бездной умолчания.

II. Методология исследования. Измерение пустоты

Для верификации предложенной гипотезы необходимо ввести дефиницию «хронотопа тишины». Переосмысливая классический термин Михаила Бахтина, мы определяем хронотоп тишины как специфическую пространственно-временную координату литературного текста, внутри которой линейный нарратив деактивируется, а плотность ментального времени читателя устремляется к бесконечности. Это точка сингулярности произведения. Пространство здесь перестает быть декорацией, а время — хронологической последовательностью; они сплавляются в единый резервуар потенциальной семантики.

Как измерить воздействие того, что не написано? Нами разработана интерпретационная модель, оценивающая силу скрытой суггестии текста.

Принцип её работы проще всего понять на примере обычной театральной паузы:

- **Плотность текста** — это слова, которые актеры произносят со сцены.
- **Объём подтекста** — это скрытый конфликт, напряжение между персонажами.
- **Радиус резонанса** — это тишина, застывшая в зрительном зале.

Разработанная система фиксирует закон обратной пропорции. Если актеры говорят без умолку, зритель быстро утомляется и отвлекается. Но когда после долгого спора наступает внезапное молчание, напряжение в зале достигает максимума. Чем короче и точнее произнесенная фраза, тем глубже и сильнее повисшая после нее тишина. Именно в эту секунду абсолютного молчания латентная энергия автора прорывает барьер логики и бьёт напрямую в подсознание зрителя (или читателя, когда мы переносим эту модель на книжную страницу), вызывая глубокое эстетическое потрясение.

III. Эмпирический анализ. Генезис тишины в мировой классике

Истоки механики невысказанного уходят корнями в античность. Древнегреческая трагедия (в частности, Эсхил и Софокл) функционировала за счет колоссального зазора между знанием хора (богов) и неведением героя. Роковая пауза, возникающая между вещим предзнаменованием и его реализацией, держала зрителя в состоянии предельного экзистенциального напряжения. Античный лаконизм доказал: масштаб мифа формируется не перечислением деталей, а монументальностью опущенных подробностей, которые зритель домысливал в священном ужасе.

Британская литературная традиция развила данный принцип, трансформировав его в поэтику сдержанности (understatement). В сонетах Уильяма Шекспира за строгими архитектоническими рамками пульсирует тектонический гул невыразимых страстей;

поэт искусно нагнетает эмоциональное напряжение в катренах, чтобы обрушить его в финальный сонетный замок, где афористичная сжатость двустишия оставляет простор для метафизического прочтения.

Романтизм в лице Джона Китса и Уильяма Блейка возвел невысказанное в ранг абсолюта. «Неуслышанные мелодии слаще слышимых», — провозглашает Китс в «Оде к греческой вазе», фиксируя превосходство умопостигаемого бытия над актуализированным. В эпоху модернизма Вирджиния Вулф в романах «На маяк» и «Миссис Дэллоуэй» переносит центр тяжести с внешних событий на микроскопические паузы в потоке сознания. Важнейшие психологические сдвиги, переломы судеб и экзистенциальные прозрения происходят у Вулф между банальными фразами о погоде или светских ритуалах. Т. С. Элиот в «Бесплодной земле» доводит технику фрагментации до предела: его поэма соткана из цитатных обрывков, разделённых смысловыми провалами, и именно в этих провалах рождается трагическое ощущение кризиса европейской гуманитарной мысли.

Американская словесная культура подошла к хронотопу тишины с иной стороны, соединив метафизическую глубину с прагматическим минимализмом. Эдгар Аллан По в своих новеллах мастерски нагнетает атмосферу ужаса не за счет описания монстров, а путём создания зон повествовательной слепоты: читатель сталкивается с тем, о чём рассказчик специально умалчивает. В поэтическом пространстве Эмили Дикинсон тире становится главным синтаксическим и философским знаком. Её тире — не просто пунктуация, а физическая граница познания, трещина в бытии, сквозь которую сквозит вечность. Поэзия Уоллеса Стивенса впоследствии укоренит эту модернистскую оптику, провозгласив доминанту воображения, где отсутствие физического объекта становится формой его высшего ментального присутствия. Вершиной прозаического воплощения данной концепции стал «эффект айсберга» Эрнеста Хемингуэя. Писатель декларировал, что видимая часть текста составляет лишь одну восьмую объёма, тогда как семь восьмых погружены под воду. Исключение из повествования предыстории, мотивов и эмоциональных излияний персонажей позволило Хемингуэю достичь беспрецедентной суггестивности: его скупой, очищенный синтаксис обнажает оглушительное одиночество человека перед лицом онтологического ничто.

Русская психологическая проза и поэзия Серебряного века представляют собой уникальный компендиум метатекстуальной тишины. Иван Тургенев заложил основы этой традиции через метод «тайной психологии»: он принципиально отказался от детального протоколирования мыслей персонажей, фиксируя несовпадение между произносимым словом и подлинным внутренним состоянием через едва заметные внешние проявления — взгляд, жест или внезапное молчание. Антон Чехов впоследствии произвёл революцию в мировой драматургии, создав театр подтекста. В его художественном пространстве за внешне тривиальным бытовым пластом — обедами или чаепитиями — разворачивается глобальное крушение человеческих

судеб. Смысл чеховской драмы мерцает в паузах, отмеченных ремарками («проходит лакей», «слышно, как далеко в саду топор стучит по дереву»).

В преддверии Серебряного века абсолютным манифестом невыразимого стало тютчевское «Silentium!»: «Мысль изречённая есть ложь», предопределившее лирическую философию начала XX столетия. Анна Ахматова превращает недосказанность в высший маркер трагизма: её знаменитые синтаксические сломы, недоговоренности, стихотворения, обрывающиеся на полуслове, передают масштаб личной и исторической катастрофы ярче любых пафосных манифестов. Марина Цветаева, используя тире подобно Дикинсон, рассекает стих, обнажая пульсирующую пустоту между выкриками. Осип Мандельштам строит поэтическую систему на «пропущенных звеньях», заставляя слова резонировать через колоссальные смысловые дистанции.

IV. Фокальная точка: одностишие Юрия Ялавина как абсолютный хронотоп

Особым, уникальным эстетическим прецедентом в контексте исследуемой парадигмы выступает одностишие выдающегося современного русского поэта Юрия Сергеевича Ялавина, созданное в 2025 году:
«Однажды мне приснился город, населённый моими любимыми песнями…»

Данная строка представляет собой абсолютный, дистиллированный хронотоп тишины. Перед нами пограничный жанр, где архитектоника текста доведена до предельной лапидарности, а потенциал виртуального развёртывания стремится к бесконечности. Восемь слов вмещают в себя колоссальный объём скрытой информации, создавая беспрецедентное по силе суггестивное поле. Данная геометрия стиха действует по принципу сингулярного ядра: поэт искусственно выкачивает воздух из вербальной оболочки, создавая внутри строки область экстремального семантического вакуума, который при чтении мгновенно втягивает в себя весь ментальный и эмоциональный опыт читателя.

Смысловой анализ текста обнаруживает сложную внутреннюю топографию. Первое слово — «Однажды» — сразу активирует категорию мифологического, внекалендарного времени. Перед нами классический зачин, вырывающий восприятие из рамок обыденного хроноса и погружающий в пространство притчи. Введение категории сна («приснился») окончательно деконструирует законы физической реальности. Сон в художественной системе Юрия Ялавина выступает не физиологическим состоянием, а метафизическим порталом, внутри которого полностью снимаются пространственно-временные ограничения материального мира.

Центральный образ — «город, населённый моими любимыми песнями» — производит радикальную синестетическую субституцию. Материальная, урбанистическая структура (архитектура, улицы, площади) полностью замещается нематериальной, звуковой субстанцией. Происходит очеловечивание пространства не через плоть, а через мелодию. Возникает парадокс масштаба: в рамках единого

речевого выдоха поэт разворачивает грандиомный ментальный полис, где каждое здание и каждый переулок эквивалентны музыкальному произведению. Перед читателем предстает индивидуальная антология памяти автора, его личный культурный код, заархивированный в предельно сжатой текстовой форме.

Ключевым композиционным элементом одностишия становится финальное многоточие. Графический знак здесь выполняет роль физической и метафизической границы перехода от слова к бесконечному звуковому и визуальному ландшафту. Поэт доводит читателя до порога этого удивительного города и осознанно погружается в молчание, оставляя его один на один с открывшейся панорамой. Вся музыка, заявленная в строке, начинает звучать исключительно внутри тишины, наступающей после прочтения. Читатель вынужден самостоятельно заселять этот виртуальный полис собственными любимыми песнями, превращаясь из пассивного потребителя текста в полноправного соавтора моностиха. Феномен Юрия Ялавина заключается в том, что минимальное вербальное воздействие порождает максимальный интерпретационный отклик в универсальном пространстве человеческого опыта.

V. Типология невысказанного

Для понимания природы функционирования хронотопа тишины необходимо классифицировать типы умолчаний, используемые в мировой литературе. Проще и нагляднее всего представить градацию тишины через аналогию со слоями земной коры, где глубина залегания определяет силу финального тектонического сдвига в восприятии реципиента:

- **Поверхностный слой: Композиционная тишина (нарративные лакуны)** — сюда относятся сознательные пропуски крупных временных или событийных пластов, мастерски применявшиеся Львом Толстым в эпической прозе, Марселем Прустом в модернистских циклах и Габриэлем Гарсиа Маркесом для создания эффекта исторического мифа. Писатель вырезает целые годы и десятилетия из жизни персонажей между главами романа. Читатель вынужден самостоятельно реконструировать произошедшие изменения по косвенным признакам, что парадоксальным образом усиливает психологическую достоверность повествования.
- **Срединный слой: Синтаксическая тишина** — данный уровень реализуется в пространстве строки через специфическую пунктуацию: многоточие Юрия Ялавина, тире Эмили Дикинсон и Марины Цветаевой, а также через парцелляцию и эллиптические конструкции. Словесная ткань намеренно разрывается, имитируя живое, прерывистое дыхание или внезапный шок, когда «рацио» временно отключается, уступая место чистой, оголённой эмоции.
- **Глубинный слой (ядро): Концептуальная, или онтологическая тишина** — она возникает в моменты, когда литература сталкивается с явлениями,

принципиально не поддающимися вербализации. Ярчайшими примерами служат мистическое безмолвие в поэзии Хуана де ла Круса, удушающая недосказанность трагического финала у Франца Кафки или апокалиптическое ничто в поздних текстах Сэмюэла Беккета. Человеческий язык полностью исчерпывает свои возможности, и дальнейшее говорение обернулось бы банальной профанацией. Автор осознанно уходит в абсолютное молчание, транслирующее масштаб явления точнее любых изощрённых метафор.

Психологический механизм суггестии в зонах тишины основан на феномене проекции. Готовое текстовое описание неизбежно активирует у читателя фильтры критического анализа и логической оценки. Пустота же, обрамлённая высокохудожественными маркерами, заставляет подсознание реципиента мгновенно заполнять этот смысловой провал собственными страхами, воспоминаниями, глубинными ассоциациями и надеждами. Происходит прямая инъекция авторского переживания в психику личности, минуя рациональные фильтры. Текст становится идеальным зеркалом, отражающим бездну человеческой субъективности.

VI. Заключение. Мудрость финального аккорда

Научный анализ невысказанного позволяет перевернуть саму парадигму литературоведческого поиска. Перенос фокуса с материального текстового знака на семантическое поле текстовых разрывов открывает колоссальные перспективы для филологии будущего. Проведённое исследование наглядно подтверждает, что подлинная глубина великих произведений измеряется не количеством страниц, а масштабом пауз, которые они способны удерживать. Поэтика тишины — высшая форма проявления художественного мастерства, требующая от демиурга абсолютного понимания и самоконтроля.

Природа творчества парадоксальна. Извлекая звуки из тишины, истинный мастер стремится к тому, чтобы вернуть тексту его первоначальное, сакральное состояние — просветлённое молчание. Величайшие книги мира пишутся не чернилами. Они создаются тем внутренним, тихим светом, который загорается в сознании читателя, когда, завершая чтение, смолкает последний вербальный звук и наступает абсолютная, звенящая, наполненная бесконечными смыслами онтологическая тишина.

Владимир Михайлов

RESEARCH No. 3 FROM THE BOOK BY VLADIMIR MIKHAILOV “ANALYSIS OF ALL POEMS BY YU.S. YALAVIN. VOLUME 6: CREATIVITY OF THE 2020s”

Once, I dreamed of a city inhabited by my favorite songs...
(Y. Yalavin, “Monostich” (“Once, I dreamed of a city...”), 2025)

The Chronotope of Silence: The Textual Mechanics of the Unsaid in Masterpieces of World Literature from Antiquity to the 21st Century

I. Introduction: The Architecture of Absence

For centuries, traditional literary criticism has committed a fundamental epistemological error, resembling a cartographer who notes down continents while completely ignoring the vast ocean that separates them. The text has been perceived exclusively as a conglomerate of the manifest: a mere sum of phonemes, syntactic structures, and overt semantic units. Yet, the true nature of verbal art is inherently dualistic. A great book is not a monolithic granite monument; rather, it is a Gothic cathedral whose aesthetic grandeur is determined not so much by the weight of its stone as by the sheer volume of the air enclosed within it.

The space between words, the pause, the graphic blank, the abrupt line break—these are not technical voids, but semantic epicenters of the highest order. In quantum physics, the concept of the physical vacuum implies that a formally empty space possesses immense latent energy capable of generating virtual particles. The artistic fabric of literature functions in an identical manner: the most powerful emotional explosion, the ultimate catharsis, occurs precisely within zones of absolute silence, where verbal markers surrender to pure, unmodified meaning.

Yury Lotman, expanding upon the concept of the "minus-device," rightly pointed out that the absence of a sign in a structurally significant position serves as a fully functional carrier of information. The Modernist and Postmodernist epochs further sharpened this aesthetic property, elevating omission from a mere stylistic ornament into a pivotal methodological device. Classical philology, armed with its positivist toolkit, falters when faced with the necessity of capturing the unsaid. Consequently, there is an urgent need for a new hermeneutic lens—one capable of investigating not the physical trail of ink, but the dynamic force field generated between graphic symbols.

The hypothesis of this study rests upon a premise quite revolutionary for traditional academia: the primary vector of a literary masterpiece's impact lies completely outside the plane of utterance. The authentic meaning of a work crystallizes at the exact moment when the author consciously falls silent, compelling the reader's imagination to perform an autonomous gravitational leap across the abyss of omission.

II. Methodology: Measuring the Void

To verify the proposed hypothesis, it is necessary to define the "chronotope of silence". Reinterpreting Mikhail Bakhtin's classical term, this study defines the chronotope of silence as a specific spatiotemporal coordinate within a literary text where the linear narrative is deactivated, and the density of the reader's mental time approaches infinity. It represents the work's singularity point. Here, space ceases to be a mere backdrop, and

time ceases to be a chronological sequence; instead, they fuse into a singular reservoir of potential semantics.

How does one measure the impact of that which remains unwritten? This study proposes an interpretive model designed to evaluate the strength of a text's latent suggestive aura. Its underlying mechanics are most easily understood through the analogy of a theatrical pause:

- **Textual Density**—the actual words spoken by actors on the stage.
- **Subtextual Volume**—the latent conflict and unuttered tension between characters.
- **The Radius of Resonance**—the absolute silence suspended over the auditorium.

The developed framework operates on a law of inverse proportion. If the actors speak incessantly, the audience quickly grows fatigued and detached. However, when a sudden silence falls after a prolonged dispute, the tension in the room reaches its apex. The more concise and precise the uttered phrase, the deeper and more resonant the ensuing silence. It is during this very second of absolute stillness that the author's latent energy bypasses the barriers of logic, projecting directly into the subconscious of the spectator (or the reader, when this model is transposed to the printed page), inducing a profound aesthetic experience.

III. Empirical Analysis: The Genesis of Silence in World Classics

The roots of the mechanics of the unsaid trace back to antiquity. Ancient Greek tragedy—most notably in the works of Aeschylus and Sophocles—operated precisely by exploiting the colossal chasm between the knowledge of the Chorus (the gods) and the ignorance of the tragic hero. The fatal pause emerging between a prophetic omen and its eventual fulfillment held the audience in a state of maximum existential suspense. Ancient Laconism demonstrated that the monumental scale of a myth is forged not by an accumulation of details, but by the sheer weight of omitted particulars, which the audience reconstructed in a state of sacred dread.

The British literary tradition refined this principle, transforming it into the poetics of understatement. In William Shakespeare's sonnets, a tectonic rumble of unutterable passions vibrates beneath strict structural frames; the poet masterfully builds emotional tension within the quatrains only to unleash it into the sonnet's final couplet, where the aphoristic compression of the resolution leaves open a vast canvas for metaphysical interpretation.

Romanticism, embodied by John Keats and William Blake, elevated the unuttered to the rank of an absolute. "Heard melodies are sweet, but those unheard / Are sweeter," Keats proclaims in his "Ode on a Grecian Urn," effectively capturing the supremacy of intelligible being over the actualized. In the Modernist era, Virginia Woolf, in her novels To the Lighthouse and Mrs. Dalloway, shifts the center of gravity away from external events to microscopic pauses within the stream of consciousness. Woolf's most critical

psychological shifts, fateful turning points, and existential epiphanies occur precisely between mundane remarks about the weather or social rituals. T. S. Eliot, in The Waste Land, pushes the technique of fragmentation to its absolute limit: his poem is woven from a patchwork of textual citations separated by profound semantic chasms, and it is within these very voids that the tragic sense of the crisis of European humanitarian thought is born.

American literary culture approached the chronotope of silence from a radically different angle, marrying metaphysical depth with pragmatic minimalism. Edgar Allan Poe, in his short stories, masterfully generates an atmosphere of horror not through descriptions of physical monsters, but by creating deliberate zones of narrative blindness: the reader is forced to confront that which the narrator meticulously and anxiously conceals. Within the poetic space of Emily Dickinson, the dash becomes the primary syntactic and philosophical anchor. Her dash is never mere punctuation; it is a physical boundary of cognition, a fracture in being through which eternity breezes. The poetry of Wallace Stevens would subsequently solidify this Modernist lens, establishing the dominance of imagination wherein the absence of a physical object becomes the ultimate manifestation of its supreme mental presence.

The pinnacle of this prose lineage is found in Ernest Hemingway's "Iceberg Theory". The author declared that the visible part of a text constitutes a mere one-eighth of its total volume, while the remaining seven-eighths lie submerged underwater. By ruthlessly stripping his narrative of explicit motivations, backstories, and the emotional outpourings of his characters, Hemingway achieved an unprecedented level of suggestiveness: his stark, stripped-down syntax lays bare the deafening loneliness of a human being standing face-to-face with ontological nothingness.

Russian psychological prose and Silver Age poetry present an unparalleled compendium of metatextual silence. Ivan Turgenev laid the groundwork for this tradition through his method of "hidden psychology": he fundamentally refused to document characters' explicit thoughts, mapping the deep discordance between a character's spoken words and their true internal state via imperceptible external cues—a glance, a gesture, or sudden silence. Anton Chekhov revolutionized world drama by inventing the theater of subtext. In his dramatic universe, beneath the deceptively trivial surface of everyday life—dinners and tea parties—unfolds the profound and quiet collapse of human destinies. The true meaning of a Chekhovian play flickers within the pauses marked by stage directions ("a waiter passes," "far away in the orchard a axe strikes a tree").

On the threshold of the Silver Age, Fyodor Tyutchev's "Silentium!" emerged as the definitive manifesto of the unexpressed: "A thought once spoken is a lie," a line that fundamentally preordained the lyrical philosophy of the early 20th century. Anna Akhmatova transformed omission into the ultimate signifier of tragedy: her legendary syntactic fractures, deliberate understatements, and poems that break off mid-sentence convey the scale of personal and historical catastrophe far more powerfully than any grandiloquent manifesto. Marina Tsvetaeva, deploying the dash much like Dickinson, cleaves her verses open to expose the

pulsating void between her outcries. Finally, Osip Mandelstam constructs his poetic architecture entirely upon "omitted links," forcing words to resonate across vast semantic distances.

IV. The Focal Point: Yuri Yalavin's Monostich as the Absolute Chronotope

A singular aesthetic precedent within this explored paradigm is the monostich by the prominent contemporary Russian poet Yuri Sergeyevich Yalavin, composed in 2025:

"Once, I dreamed of a city inhabited by my favorite songs..."

This single line represents the absolute, distilled chronotope of silence. It belongs to a liminal genre where the text's architecture is reduced to its barest shorthand, while its potential for virtual expansion approaches infinity. Eight words encapsulate a massive volume of hidden information, creating a suggestive field of unprecedented strength. This geometry of verse works on the principle of a singular nucleus: the poet artificially evacuates the air from the verbal shell, creating a zone of extreme semantic vacuum within the line. Upon reading, this vacuum instantly draws in the entire mental and emotional reservoir of the reader.

A semantic deconstruction of the text reveals a highly sophisticated internal topography. The opening word—"Once"—immediately activates the category of mythological, non-calendar time. It is a classical narrative opening that wrenches the reader's perception out of mundane chronos and plunges it into the timeless space of a parable. The introduction of the dream state ("dreamed") completely dismantles the laws of physical reality. In Yalavin's artistic system, the dream functions not as a physiological state but as a metaphysical portal wherein the spatiotemporal boundaries of the material world are entirely dissolved.

The central image—"a city inhabited by my favorite songs"—performs a radical synesthetic substitution. A tangible, urban structure (architecture, streets, squares) is thoroughly replaced by an intangible, sonic substance. Space is humanized not through flesh, but through melody. This gives rise to a paradox of scale: within the span of a single verbal breath, the poet constructs a vast mental polis where every building and alleyway corresponds to an entire musical composition. The reader is presented with an individual anthology of the author's memory—a highly personal cultural code archived in a maximally compressed textual format.

The defining compositional element of this monostich is its final ellipsis. Here, the graphic sign acts as both a physical and metaphysical threshold, marking the transition from the explicit word to an infinite auditory and visual landscape. The poet leads the reader to the very edge of this wondrous city and then consciously falls into silence, leaving them completely alone with the unfolding panorama. All the music invoked by the line begins to play exclusively within the deep silence that follows its reading. The reader is compelled to independently populate this conceptual city with their own favorite songs, transforming from a passive consumer of text into a co-author of the monostich. The core phenomenon

of Yuri Yalavin's poetry lies in this exact mechanism: a minimal verbal stimulus triggers a maximal interpretive resonance across the universal space of human experience.

V. The Typology of the Unsaid and the Psychology of Suggestion

To understand how the chronotope of silence operates, one must classify the types of omissions deployed across world literature. This gradation of silence is most vividly conceptualized through an analogy with the layers of the Earth's crust, where the depth of a layer dictates the power of the ultimate tectonic shift within the recipient's perception:

- **The Crust: Compositional Silence (Narrative Lacunae)**—this layer comprises the conscious omission of vast temporal or event-driven strata, masterfully utilized by Leo Tolstoy in his epic prose, Marcel Proust in his modernist cycles, and Gabriel García Márquez to engineer an aura of historical myth. The author excises entire years or decades from the characters' lives between the chapters of a novel. The reader is forced to independently reconstruct the transpired changes through indirect clues, a process that paradoxically heightens the psychological authenticity of the narrative.
- **The Mantle: Syntactic Silence**—this level manifests within the space of a line through specialized punctuation: Yuri Yalavin's ellipsis, the sharp dashes of Emily Dickinson and Marina Tsvetaeva, as well as through segmentations and elliptical omissions. The verbal fabric is deliberately torn apart, mimicking a living, gasping breath or a sudden trauma, a moment when ratio momentarily shuts down to give way to raw, unshielded emotion.
- **The Core: Conceptual or Ontological Silence**—this emerges at the precise moments when literature collides with manifestations that fundamentally defy verbalization. Prime examples include the mystical stillness in the poetry of San Juan de la Cruz, the suffocating ambiguity of Franz Kafka's tragic finales, or the apocalyptic nothingness in Samuel Beckett's late works. This is the realm of transcendent experience, absolute evil, overwhelming joy, or the sacred terror of mortality. Human language completely exhausts its capacities, and any further speech would turn into trivial profanation. The author consciously steps into an absolute silence that communicates the magnitude of the phenomenon far more accurately than even the most elaborate metaphors.

The psychological engine of suggestion within these zones of silence is rooted in the phenomenon of projection. A fully articulated textual description inevitably triggers the reader's filters of critical analysis and logical evaluation. Conversely, a void framed by high-art markers forces the recipient's subconscious to instantly flood this semantic chasm with their own latent fears, memories, deep-seated associations, and hopes. This accomplishes a direct injection of the author's raw experience into the reader's psyche, completely bypassing rational filters. The text thus becomes a flawless mirror, reflecting the deep abyss of human subjectivity.

VI. Conclusion: The Wisdom of the Final Chord

A rigorous academic analysis of the unsaid effectively upends the traditional paradigm of literary criticism. Shifting our focus away from the material textual sign toward the semantic field of textual ruptures unseals massive horizons for the future of philology. This study clearly demonstrates that the authentic depth of great literary works is measured not by their page count, but by the magnitude of the pauses they are capable of holding. The poetics of silence represent the highest echelon of artistic mastery, demanding from the creative mind absolute precision and immense self-control.

The nature of creativity is profoundly paradoxical. In extracting sound out of stillness, the true master ultimately seeks to return the text to its primal, sacred condition—a state of enlightened silence. The greatest books in human history are not written in ink. They are forged by that quiet, internal light that ignites within the reader's mind when, upon completing the reading, the last verbal sound fades away, and there falls an absolute, ringing, and infinitely meaningful ontological silence.

Vladimir Mikhailov

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

СОВРЕМЕННИКИ О Ю. С. ЯЛАВИНЕ (2025)

Юрий! В ваших стихах и афоризмах каждый человек всегда находит точный и тёплый ответ. Кому-то хватает одной фразы про радугу, кому-то — про мгновения, а кому-то жизненно необходима строчка про преодоление эгоизма и про то, что «всё хорошо». А когда таких точек опоры много, они складываются в целую вселенную. Назвать кого-то «великим» — это всегда про личное чувство. Знайте, вы для меня ВЕЛИКИЙ, потому что умеете говорить о самом главном простыми словами, и эти слова потом живут в памяти, статусах, семейных разговорах. Они, как говорится, «ушли в народ».

Ольга Овчинникова

г. Москва

Материал подготовил Владимир Михайлов

ADDITIONAL MATERIAL

CONTEMPORARIES ABOUT YU. S. YALAVIN (2025)

Yuri! In your poems and aphorisms, every person always finds a precise and comforting answer. For some, a single phrase about a rainbow is enough; for others, a line about moments suffices; while still others find a vital necessity in your words on overcoming egoism and the assurance that ‘everything is fine.’ When such focal points of support multiply, they coalesce into an entire universe. To call someone ‘great’ is always a matter of

personal sentiment. Know that to me, you are GREAT, because you possess the rare gift of speaking about the most profound matters in simple words—words that subsequently live on in people's memories, social media statuses, and family conversations. They have, as the saying goes, ‘blended into the very fabric of the people.’

Olga Ovchinnikova, Moscow

Material prepared by Vladimir Mikhailov